

АЛЕКСЕЙ СЕЧИНСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Алексей Антонович Сечинский* – младший брат Сергея Антоновича Клычкова. В конце 60-х годов XX века он был одним из немногих, кто пытался возродить некогда широко известное литературное имя Сергея Клычкова. Достаточно вспомнить, что даже после политической реабилитации поэта в 1956 году произведения его не издавались, а имя надолго было вычеркнуто из списка русских писателей-мыслителей начала прошлого столетия. Алексей Сечинский долго добивался переиздания книг своего брата: он обращался и к Брежневу, и к заведующему отделом культуры ЦК КПСС Шауро, и к Шолохову, но всегда получал отказ.

В 1974 году Алексей Антонович Сечинский написал воспоминания «О родном крае, поэте, писателе и переводчике Сергее Антоновиче Клычкове». В них он описывает жизнь и быт города Талдома и своей родной деревни Дубровки, где жила большая семья будущего знаменитого поэта.

Алексей Сечинский в своих воспоминаниях рассказывает о старшем брате Сергее. Здесь он впервые поведал о пути Сергея Антоновича Клычкова в литературу, о его родных, о тех людях, с кем сводила его судьба. Благодаря воспоминаниям Алексея Сечинского были написаны статьи, стали возможны научные публикации, книги о жизни и творчестве Сергея Клычкова.

В нашей публикации вашему вниманию предлагается несколько сокращённых глав из воспоминаний Алексея Антоновича Сечинского. Для создания масштабного контекста творчества Сергея Клычкова хотелось бы воспоминания его брата Алексея издать полностью, поскольку они дополняют творческий образ теперь уже признанного поэта и писателя. В 1983 году Алексей Антонович Сечинский на 86-м году жизни скончался, так и не дожив до полной литературной реабилитации старшего брата.

Наша деревня Дубровки

Мне с детства памятен трактир вблизи станции Талдом с постоянным двором Бендрышева Ал. Николаевича, возле которого на протяжении 150–160 метров ранней весной и осенью тянулась не дорога, а непролазная грязь.

* Сечинский Алексей Антонович – родной брат Сергея Клычкова. Точно не известно, по какой причине в 1919 году вся семья поэта переменяла свою фамилию на Сечинских. Однако Сергей Антонович Клычков остался при своей прежней фамилии. По рассказам родственников, их мать носила фамилию Сечинская.

По этой дороге колёса телеги катились в густом, липком месиве и были видны лишь наполовину, а в глубоких местах их не было видно вовсе.

С большим трудом лошадь доезжала до железнодорожного переезда. За ним направо располагалась паровая мельница с чайной и постоянным двором Кашехлебова Ивана Андреевича.

С левой стороны был лесной склад Дмитриева. Вот с этих мест и начиналась из села Талдома дорога в деревню Дубровки. Эта дорога более чем на 200 метров представляла собой дорожную колею с довольно глубокими колдобинами. Сразу за маленьким мостиком через когда-то выкопанную, а теперь заросшую травой и кустарником канаву, были положены в ряд тонкие бревешки метров 4–5 длиной. В сухое время года они вплотную лежали в углублении, и лошадь с телегой шла по ним без труда.

Ранней весной и осенью, после дождей, вода приподнимала эти бревёшки, и лошадь, шагая по ним, скользила и спотыкалась, а колёса телеги крутились неравномерно. Лошадь, видя метра за два более надёжное место, выходила с передком телеги – подушкой-осью, отдыхала на “безопасном” месте, а телега с людьми вытаскивалась из грязи без её помощи.

Дальше дорога по талдомской земле шла с теми же колдобинами до мостика, с которого начиналась уже дубровская земля.

В деревне Дубровки было 30 домов, а жителей в них – около 130 человек.

Расположена была деревня на реке Куйменке, впадающей в Дубну. С трёх сторон узкие полоски земли засеивались рожью, овсом, льном. Урожаи были очень низкие. В дождливую осень или весну концы этих полосок вымокали, и урожай был сам-третей.

За рекой Куйменкой были дубровские леса Потапиха, Чертухино, Осинник и леса купцов Колыгина, Замлезко, а дальше Малый и Большой или Великий мох со Светлым болотом. Как только начинались тёплые ясные весенние дни, гомон птиц далеко-далеко разносился по утренним и вечерним росам, а ночью раздавались то жалобные, то как бы смеющиеся голоса ночных птиц, рысей и барсуков.

Вся эта загадочная гармония разнообразных звуков ещё больше укрепляла в деревенском народе веру в леших, домовых, чертей и русалок.

Сами по себе Дубровки ничем особенным привлекательны не были, но леса, река, низменная, зачастую болотистая местность, обилие певчих птиц, дичи, грибов, ягод, утренние и вечерние росы, туманы, зарождающиеся над рекой и на нашем болоте, замечательная игра на рожке в ночном пастуха Нила, мерцающие звёзды, как будто кто-то там на них дует и они никак не могут погаснуть на тёмно-синем небе, – всё это приводило в волнение душу.

При входе в Колыгинский лес стояла удивительно красивая, причудливой формы ель. Она была необычайно высока, имела сплошную густую зелёную крону лапчатых ветвей, спускающихся до самой земли. В сильный проливной дождь она давала приют под своими ветвями и малым, и старым, оказавшимся в непогоду в лесу.

Впоследствии купец Колыгин свой лес вырубил. А про эту ель с сожалением вспоминали не только мы, дети природы, но и взрослые, в ту пору жившие в нашей деревне.

Через пару лет по колыгинской вырубке появились заросли малинника, и к Ильину дню здесь было столько малины, что хватало многим запасти на всю зиму.

Троицын день – праздник весны

В Дубровках весьма был приметен праздник Святой Троицы и Духов день.

Жители деревни к нему готовились загодя: мыли все в домах, а около домов и в огородах подметали и прибирали. При входе в дом ставились ветки распутившейся берёзы с молоденькими, липкими ещё и пахучими листочками. Праздник старались встретить и отметить лучшей едой, хмельным. Многие говорили: “В лепёшку расшибусь, а сделаю так, чтобы не было стыдно ни перед гостями, ни перед соседями”. Для того чтобы не было стыдно, у купцов и богатеев брали деньги под будущую работу или продавали скотину.

Празднование в домах начиналось после того, как поп – Егор или Михаил – окончит обход всех домов с иконой из талдомской церкви и отслужит молебен за деревней на выгоне, где пасли деревенское стадо.

Посреди деревни на лужке уже водили хороводы и пели “Во кругу” с приплясом и с гармонистом, распевала звучным голосом развесёлая вдова Ори-на Морковкина или Варвара Кислиха со вьюном из полевых цветов на плече:

*Положу я вьюн на правое плечо,
А со правого на лево положу,
А со левого к милому положу.*

Кому клался вьюн (венок), тот входил во круг. Его или её просили спеть или сплясать. Часто для общей потехи выбирали старушку, которая долго не соглашалась выйти, но потом, очевидно, вспомнив свою молодость, пускалась со вьюном в такой пляс, что своей весёлостью заражала даже и тех, кто пел редко или вовсе не любил петь. Все пели и плясали, причем пускались в пляс с прибаутками, хлопками и остротами.

Пелась и такая хороводная песня:

*Вдоль по морю, морю синему, хвалынскому,
Морю синему хвалынскому,
Плыла лебедь со лебятками,
Со малыми, со ребятками.*

В хороводы часто вставал и брат, а потом он писал о том стихи:

*В хороводе Лада ходит,
Белой, белой ручкой водит,
Следом парень разудалый,
Парень, парень холостой:
— Ой, красавушка, постой!
Погоди — постой чуток,
Не стеряла ль ленты алой,
Не сронила ль ты платок!
Ходит Лада павой, павой,
Машет ручкой правой, правой,
Жмёт платочек на груди —
Забегает парень русый,
Закликает парень:
— Ты постой да погоди!
Не сронила ли ты бусы,
Не стеряла ли серёг!..*

(Из книги “Кольцо Лады”)

Близился вечер. Домохозяйки готовились в своих домах к приходу скотины с выгона. В хороводах оставалась только молодёжь. Гости из Талдома и других деревень старались засветло вернуться домой.

Ильин день – начало уборки урожая

В Ильин день в Дубровках тётка Катерина Кульчиха в ржаном поле зажинала первый сноп и ставила этот сноп в переднем углу своей большой избы. Это был сигнал, что рожь поспела, надо жать.

Катерина уже в годах была, но необычайно сильна и энергична, и она была единственной в Дубровках, кто занимался только крестьянским трудом. Были ещё дома, где крестьянство было поставлено хорошо, но там ещё и башмаки тачали, к примеру, Василий Иванович Морковкин, Куприян Кондратьевич Каблуков, Анисим Антипович Козлов, Анна Егоровна Голубкова, Терентий Иванович Клычков, Филипп Макеев и ещё три-четыре хозяйства.

В Дубровках многие имели родных и знакомых в Талдоме и в Ильин день уходили туда в гости. В Талдоме тогда собиралось много народа из ближайших деревень.

Праздник праздником, а Кульчиха принесла сжатый сноп ржи с поля, значит, рожь поспела. И все гостящие спешили засветло придти домой, что-

бы завтра рано утром быть в ржаном поле. Дубровские крестьяне быстро сжи-нали свои узкие полоски, дружно подвозили снопы к овинам. Снопы складывались в скирды, потом просушивались в овине, натопленном наколотыми из пней дровами. Молотили на гумне цепами, веяли лопатой на ветру ржаное или овсяное зерно.

*Над рекой туман косматый,
Пахнет, пахнет в поле мятой,
Плачет перепел во ржи,
Луг покошен, рожь пожата,
Месяц клонится щербатый
В васильки сырой межи.*

А вот ещё стихи моего брата Сергея об этой благословенной поре:

*Синий дым по луговине,
В ряд сидят снопы в овине,
Дремлет дед за камельком,
Звёзды падают мельком.*

Близится осень

Вскоре после Ильина дня пахали пар и сеяли рожь. Обмолот сжатой ржи и овса был уже закончен. Одновременно с обмолотом надо было повыдергать лён и обмолотить его. В яровом поле копали картошку, сушили её у дома, чтобы убрать в подпол и сохранить до весны. Подпол был устроен в выкопанной на высоком месте грушеобразной глубокой яме. Всё это делали в большинстве своём хозяйки, их дочери и дети.

Мужья-башмачники, не покидая своих *липок*, сидели за шитьём башмаков с раннего утра до поздней ночи. Да, признаться, некоторые из башмарей и не умели ни пахать, ни запрячь лошадь в телегу или сани. Но по просьбе жены-хозяйки всегда старались помочь. Дугу в гужи хомута и в оглобли закладывали назад кольцо (в дуге находилось кольцо, в которое от обороти пропускался повод). Супонь у хомута стягивали не вплотную.

Вышла домохозяйка-крестьянка, села в сани или телегу, тронула вожжами лошадь, а лошадь-то и вышла из оглобель. Спокойная, весёлая баба расхохочется на всю деревню, а сварливая, характерная возьмёт своего “крестьянина” в работу, а он ответ ей – и пошёл крик на всю деревню.

Конец хмурому октябрю: полевые, огородные работы закончены рубкой капусты на зиму. Обработан лён и готов к продаже.

Наступает ноябрь месяц. Со снегом, с дождём и холодным ветром – и тёмными-тёмными ночами. В эти тёмные, ветреные вечера и ночи со стороны Талдома слышались охрипшие голоса и залиvistые звуки гармошки. Это возвращались из Талдома рекруты-новобранцы, которых призывали в армию, для чего из уездного города Калязина приезжала военная комиссия. День проводов всегда был очень трогателен и печален.

Неделя за неделей проходила – и постепенно забывались грустные проводы в армию новобранцев-рекрутов. Погода менялась, ночи становились звёздными, светлыми. Утро наступало с морозцем и мелким сухим снежком. День проходил с холодным, но ярким солнцем. Небо – без единой тучки. День ото дня снег все плотнее покрывал землю своим тёплым одеялом.

И об этом можно прочесть в стихах Сергея Клычкова:

*Где овраги, где луга,
Где дремучий тёмный лес,
Где огорок до небес,
Запеленутый в снега...*

В зимнюю пору с раннего утра до поздней ночи кустари-башмачники, не разгибая спины, сидели за работой, а под базарный день зачастую и ночь напролёт: с *липки* – сразу в Талдом, на базар. *Липка* – это круглое сидение из липового дерева, выдолбленного изнутри. Верх *липки* был обит брезентом или кожей, куда зачастую мастера после работы складывали нож, тер-

пуг, урезник, такмачок, шило, форштук, грифель, молоток, тупичок и другие инструменты.

Домохозяйки были заняты своей работой, да ещё и мужу помогали: надо было на зингерской ножной машине делать заготовки для башмаков.

Дни летели быстро, незаметно подкрадывалось Рождество (старого стиля – 25 декабря, нового стиля – 7 января), а потом и Крещение (6 января старого стиля и нового стиля – 19 января).

За долгие зимние праздники башмари чуть-чуть очухаются – отдохнут, придут в себя.

После Крещения – Святки, которые продолжались до Масленой недели. На Святках для *поседок*, или, как ещё называли их по-другому, – *бесед*, снимали девки большую избу с широкими аршинными лавками по двум сторонам, широкими же, чуть не по аршину шириной сосновыми половицами.

Старинная добротная изба часто снималась у Катерины Кульчихи, которая сама управлялась со своим крестьянским хозяйством не хуже, чем семейные.

На этих *поседках-беседах* вечерами в продолжение всех Святков девки и парни водили *кадрили* и играли в *соседи*. Парни из других деревень приезжали на *поседки-беседы* к нашим дубровским девкам. И не было случая, чтобы кто-то затевал из-за девок драку. Нож был главным орудием в работе башмачника, но ни один парень при себе никогда не носил ножа.

Наезды парней в деревни были *смотринами* – выбором невест. Понавившиеся друг другу девица и молодец сообщали о том своим родителям. Родители невесты зачастую приезжали посмотреть на жениха: какая семья, какие бытовые, жизненные условия, где будет жить их дочь. Кроме всего этого, родные жениха и невесты узнавали через сватов, *кумушек* подробнейшие биографические данные – вплоть до прадеда и прабабки, подчас уже умерших лет 20 тому назад.

Первыми условиями для сговора были такие: невеста должна была быть заготовщицей, а жених – хорошим мастером рантовой, гвоздевой и шитной или воротной обуви. В почёте были женихи, шившие дамскую обувь со строченой шёлковой ниткой в ранте, с французским деревянным каблуком, из шевровой или *лак-шевро* – хромовой заграничной кожи.

Были мастера, так называемые *волчки*, шившие изящные *лодочки*, *венгерки*, *румынки* из заграничной кожи, причем не более 2-3 пар в неделю.

Были ещё мастера *гусарочки*, некоторых из них звали *лепилами*, потому что мастер вместе с учеником или с подмастерьем в неделю “лепили” – шили более ста пар детских башмачков.

Таких *гусарочников-лепил* в наших Дубровках не было, но в Нушпольской, Семёновской, Ново-Семёновской волостях их было много.

Но *гусарочки-лепилы* не были в почёте и никогда не подсылали своих сватов к невесте с хорошим приданым, зная, что родители невесты своего согласия на такой брак не дадут.

Невеста, родители которой более или менее материально крепкие, должна была иметь пальто плюшевое или суконное на лисьем меху. Не менее четырёх одежин, на каждое время года, несколько подушек, перин, два-три одеяла, несколько платьев, швейную ножную машину зингерскую. Невеста бедных родителей ограничивалась не периной, а постельником и могла быть и без машины. Но пальто на лисьем меху было обязательно, хотя и недорогое, но обязательно *на лисьем*. Если жених был *фартовый* – мастер хороший, семья почётная, – то родители невесты, как говорили раньше, в *лепёшку расшибутся*, а всё для неё справят. Если достаток был небольшой, то залезали в долги или продавали скотину. Боялись, что дочь упустит жениха, а в другие Святки сваты и свахи могут и не подъехать к ним, а девке идёт уже восемнадцатый год, а за двадцать лет будет – то тогда может посватать какой-нибудь вдовец, да с детьми, или же *лепило-гусарочник*.

Девица за 19–20 лет считалась *переростком*, почти старухой. Она ходила на *поседки-беседы*, а выбирали её на *кадриль*, только если не было помоложе, или же её выбирали такие же парни – *переростки*, *старики*, которых было очень мало.

Готовое приданое жениху отвозили подружки невесты. Перед отъездом невеста собирала девичник – вечер прощания с девичеством.

На девичнике подружки невесты пели песни о том, что “покидает их подруженька Алёнушка и улетает навеки вечные к ясному соколу Егорушке”.

Девушки, отвозившие к жениху приданое, старались показать, что приданого много. Раскладывали его на 3–4 лошадиные упряжки в деревенских санях-розвальнях. В санях-розвальнях самые голосистые девушки пели развесёлые песни. А когда проезжали селом Талдомом или какой-нибудь деревней – пели как можно громче.

Привезённое к жениху приданое никогда не отдавали просто так. Девушки требовали денежный выкуп и угощения. После торга приходили к взаимному соглашению, жених выкупал приданое и ставил угощение. Но необходимо заметить: до поставленного на стол *белого* и *красного* вина ни одна девушка не дотрагивалась. Среди деревенских девиц считалось постыдным пить вино и водку.

Первый день свадьбы гуляли у жениха, второй – у невесты, на третий день делали складчину и пир продолжался в Талдоме, в трактире Кузьмича или Чернова, с плясками и песнями. На свадьбу приходили ряженые, которыми ставили угощение и давали денег.

В суевежных семьях (а таких было много!) очень боялись прихода колдуна на свадьбу, который мог принести новобрачным несчастье и испортить их семейную жизнь.

Свадьба кончалась, и привезённая молодуха и её муж усаживались за башмачную работу.

Ждали прихода Масленицы, поскольку молодожёнам надо было встретить и проводить её так, чтобы к отцу жены в деревню, в Талдом или Кимры, приехать на лошади, которая бы *плясала на месте*, и сбруя была бы вся блестящая, и лошадь бы в маленьких лёгких саночках всех лошадей обгоняла, а на жене и на муже был бы виден пушистый отворот лисьей шубы.

Молодые, неженатые люди тоже старались прокатиться в хороших санках, на быстрой лошади с девицей, которую заприметили ещё на Красной горке, чтобы на будущих Святках заслать к ней сватов.

Все эти недешёвые приобретения хорошим башмачникам доставались упорным трудом. Работали они по 15–18 часов в сутки. Про таких мастеров говорили: “Он и днём – с огнём”. Всякому овощу свое время. Так и тут: праздник весны, Троицу и Духов день встречали в Дубровках ветками берёзок с только что распустившимися липкими листочками, раскладывая их при входе в дом. Масленицу встречали и провожали *красой*. Почти у каждого дома (кроме тех домов, где жили уже очень старые люди) на длинной жерди прикрепляли ёлочку с полметра высотой или другое деревце, украшали его цветной бумагой. Из картона вырезывали или свивали из соломы голубков, ангелочков, куколок или другие игрушки, вешали на ёлочку бумажные или настоящие блины. Эту *красу* устраивали молодые женщины и девушки, проявляя и свой женский вкус, и наблюдательность, и умение. Каждый старался как можно красивее и смешнее нарядить свою *ёлочку-красу*, чтобы она была лучше, чем у соседей.

На некоторых ёлочках укрепляли *парня*, который размахивал руками с блинами. Блины эти, картонные или хлебные, от малейшего ветерка приходили в движение, а у *парня* так было углем лицо размалёвано, будто он этим блином улыбался.

Эти *ёлочки-красы* стояли до воскресенья Масленой недели. Вот пришла и суббота, а вечером в субботу у ребячьей ватаги, да и у тех, кто постарше нас, было много забот: устройство масленичного прощального костра на *огорке* за Дубровками.

На *огорок* свозили солому, ступицы от колёс, пропитанные дёгтем дрова, старые сани, ветошь, ящички из-под колёсной мази. Приносились и *ёлочки-красы*, вздетые на жерди.

На *огорке* укреплялись, как у шатра, четыре-пять высоких жердей. В середину складывали дрова попеременно с соломой и всем тем, что было принесено для костра. Ставились в этот шатёр и некоторые *красы*.

Другие ёлочки и ящички укреплялись на жердях чуть в стороне от костра. А выше всего в этом костре-шатре было чучело *парня* с блинами в руках, укрепленное на шесте.

И вот, наконец, масленичное воскресенье, наступил вечер. К нашему шатру-костру стекается дубровский народ... Вот мы увидели, как загорелась Масленица в Талдоме, Костине, Серебряне... Пора и нам зажигать. Мы зажигать свою Масленицу никому не давали. Наконец, с четырёх, с пяти сторон поджигаем.

Наверху, над шатром, масленичный парень долго машет блинами. Жердь, на которой он висел, постепенно подгорала, и он падал, объятый пламенем, в середину костра. Мы кричали: “Конец Масленице! Блины сгорели!” — и все собравшиеся, молодые и старые, кричали и хлопали в ладоши.

Стоящие поодаль красы опускали и поджигали, а потом вновь поднимали их пылающие фигуры в вышину на шестах.

А вот как мой брат описывал Масленицу в своих стихах:

*На поляне, на поляне
Вкруг костра весёлый крик,
На костре худые сани,
В санях парень и старик.
Песни, пляски на поляне,
Старый, старый трубит в рог.
Яркий змей пополз под сани
И в костре, свернувшись, лёг.*

Костёр потух, красы и ящички сгорели, огорок опустел. Из деревни был чуть заметен ползущий и вспыхивающий огонёк догорающего костра.

Проводившие Масленицу сельчане доедали остатки блинов и рыбы. Завтра понедельник, первый день Великого поста. Башмари опять примутся за свою изнурительную работу, а у хозяек хватает забот и по дому, и в лесу: нужно вывезти сучья, дрова, да и мужу в башмачном деле помочь. Дни летели быстро. Зима шла к концу.

О зиме Сергей писал:

*Ой ты, лютая зима!
Погуляла вдоль села,
Подобрала закрома,
Все сусеки подмела!
Собиралась восвояси:
Шубу белую, дублённую
Уложила в сундуки,
Лишь подкладочку зелёную
Обронила у реки.*

Дед и бабушка поэта

Дед поэта, Никита Родионович Клычков, происходил из крестьян Тверской губернии, Калязинского уезда, Талдомской волости, деревни Дубровка. Был Никита Родионович кустарем-башмачником. Жил бедно, в развалившейся хате, с дырявой соломенной крышей. В Дубровках, однако, он прожил недолго. В то время Савёловской железной дороги не было, и пошёл он из деревни в Москву пешком.

В Москве Никита Родионович женился на кухарке Евдокии Михайловне, служившей у господ-поляков. По словам нашего отца Антона Никитича, она была полька.

У них в 1865 году в Москве родился сын Антон — отец поэта. Перед уходом из Москвы в Дубровки его 9 лет от роду отдали в ученье петербургскому башмачнику.

Никита Родионович в деревне Дубровки надолго не задерживался. Оставив жену с родившейся уже в деревне дочкой Анной, отправился он в Святые места на богомолье. Его паломничество продолжалось около года. По словам нашего отца, Никита Родионович побывал и на Афоне.

Во время остановок дед в сёлах и деревнях чинил обувь, помогал крестьянам по хозяйству.

Денег за работу не брал, говорил: “Если я иду Богу молиться, то денег за работу не должен брать, а помогать задаром, тогда моя молитва будет угодна Богу”.

Возвратясь с богомолья, Никита Родионович помогал жене по хозяйству, отдыхая от долгого пути.

И снова уходил, но умер он в своих Дубровках.

Жена Никиты Родионовича – наша бабка Авдотья обладала хорошей физической силой, была статной, красивой, волевой женщиной, легко справлялась с тяжёлой физической работой. На своей любимой лошади Сивко возила лес, дрова, сучья. Часто говорила: “Умрём мы с тобой, Сивко, вместе”. Как будто знала она, что вместе с Сивко трагически погибнет под колёсами поезда на железной дороге...

Родители поэта

Хозяева и мастера-башмачники с учениками обращались бесчеловечно, не чураясь и телесных наказаний. Это испытал на себе и девятилетний Антон, отец поэта. Не выдержав истязаний, из Петербурга он с обозом убежал в Москву, где с большим трудом, лишь через несколько лет добился совершенства в башмачном ремесле.

В Петербург он вернулся хорошим мастером. Женился на 17-летней башмачнице-заготовщице Фёкле Алексеевне Кузнецовой, жившей в услужении у своего дяди, Чулкова Алексея Васильевича.

В восьмидесятых годах прошлого столетия Антон Никитич с Фёклой Алексеевной из Петербурга вернулись в свою деревню Дубровки.

В деревне Антон Никитич построил деревянный дом, который впоследствии сгорел. Тогда он начал строить дом из кирпича, и строил его долго.

Наша мать Фёкла Алексеевна пешком ходила в Москву с коробом изготовленных башмаков за плечами. Она выходила из дома часов в 10–11 ночи, шла всю ночь, весь день, вечер и только часа в 2–3 следующей ночи приходила в Москву.

Продав утром башмаки палаточникам у Кремлёвской стены или в магазины города, отправлялась в обратный путь пешком – 100 верст от Москвы до Дубровки. После трагической смерти бабки Авдотьи у нашей матери, очевидно, на почве нервного расстройства случился паралич правой ноги и всей правой части тела.

Эта болезнь уложила нашу мать в постель больше чем на полгода. Земский врач Жардецкий в лечении матери принимал большое участие, но положительных результатов не было.

Однажды летним солнечным днем мы вынесли ее на улицу. И в тот же день пришедшая к нам старая нищенка, увидев нашу мать, посоветовала взять большую деревянную бочку, насыпать до половины сеной трухи – свежей, с цветочками. Влить кипящую воду и закрыть бочку одеялом. Потом взять у мясников мозги двух старых лошадей, размешать их в горячей воде, влить в бочку с сеной трухой, снова закрыть её и дать постоять. Когда вода в бочке немного остынет, поместить в неё больную, покрыть её и держать в бочке, пока не остынет вода. Этот совет нищенки мы использовали три или четыре раза, и наша мать начала постепенно ходить, только нога стала чуть короче, и она до самой смерти слегка прихрамывала.

Фёкла Алексеевна – наша мать – была женщина неграмотная, но в обращении со всеми ласковая, добродушная и простая. Под праздники незаметно, таясь даже от своих детей, одиноким старушкам и многосемейным – очень бедным – клала в чулан хлеб или муку, творог и другие продукты, хотя мы зачастую и сами терпели нужду.

Все семейные заботы лежали на плечах нашей матери-труженицы, которая, благодаря её светлomu разуму и большому трудолюбию, все же сводила концы с концами.

При урожае яблок в нашем саду в базарные дни мать торговала ими в Талдоме. Часть яблок доставалась и нам, и деревенским ребятишкам. Возвращаясь с базара, она всегда раздавала яблоки, и дети встречали её при въезде в деревню, ожидая сладких гостинцев.

Жизнь нашей матери была очень нелёгкой. Она подорвала своё здоровье непосильной работой и последние 20 лет страдала нервными припадками.

Отец наш часто выпивал, но когда брат Сергей был дома, то отец выпивал реже, чему мы были очень рады. В особенности мы радовались за нашу мать, которая в это время могла обрести покой и отдохнуть.

Наши родители были старообрядцами, и в деревне нас звали *столоверами*. Поп был из своих же, полуграмотный, но хорошо знавший церковные обряды.

Старообрядцев в Талдомской волости было не более 30–40 семей. В нашей деревне таких семей было пять. Церковь наша находилась в селе Талдоме, была она маленькая, деревянная. При входе в неё, на паперти стоял шкаф. В этот шкаф верующие мужчины вешали верхнюю одежду, надевая чёрный, до колен длиной, пиджак с бортами, и носили его до конца службы в церкви. Женщины ходили в церковь, одетые во всё чёрное. Каждый молящийся имел свой собственный коврик, который стелил перед собой на пол при земных поклонах. Кроме того, некоторые верующие имели ещё и лестовку, представлявшую собой очень узкий ремешок с выпуклыми, сделанными из кожи узелками-делениями.

При каждом земном поклоне большой палец левой руки переходил с узелка на узелок – так производился отсчёт земных поклонов.

Всех делений на лестовке было 50 или 100.

Внутренний вид нашей церкви отличался строгостью икон. Книги, по которым отправлялась церковная служба, производились чтения и песнопения, были с крупным церковно-славянским шрифтом, и начальная буква слова на каждой странице была выполнена по витиеватой трафаретке киноварью.

Были они в толстых деревянных переплётках – досках, обтянутых кожей, и запирались кожаными створками.

Родители наши всех обрядов не соблюдали, но считали себя верующими. Я слышал не однажды, что отца и мать другие верующие осуждали за неаккуратное соблюдение церковных правил: они-де редко ходили в церковь, не постились, не исповедовались, не причащались так часто, как полагалось верующему человеку.

Осуждавшим мать не раз говорила в ответ: “Можно и в церковь не ходить, но в Бога верить”.

Наши родители, как и большинство деревенских людей, родившихся во второй половине XIX века, были суеверны. Верили в колдунов, в порчу, в дурной глаз: образовался какой-нибудь чирей на теле – они считали, что это колдун присадил килу.

Когда кому-нибудь нездоровилось – глаза воспалённые, жар в теле, – они считали, что его сглазили.

Заплелась или запуталась грива у лошади – считали, что гриву запутал домовый.

Тёмной ночью крик или завывание в лесу – считали, что в лесу завелась нечистая сила, черти, ведьмы.

Но и вера в бога, и вера в сказочных, мифических персонажей с годами у наших родителей повыветрилась.

Охота на глухаря

Раза два-три брат брал меня с собой на охоту на глухаря.

Эта красивая большая птица жила и множилась в казённых вековых лесах.

От деревни Дубровки такой лес был в 8–9 километрах. Дорога к нему вела по мосту через реку Куйменку и луговину, а потом вдоль реки шла стороной, около Дубровского осинника и смешанного мелкоколесья, и выводила к стене векового, высоченного казённого леса.

Вот от этой лесной стены и начиналась дорога, временами переплетаемая корнями вековых елей и сосен, которая вела к реке Дубне.

Там когда-то в затоне стояла водяная мельница, от которой остались только сваи и часть остова, погружённая в воду. Об этой чудесной водяной мельнице написано Сергеем стихотворение “Мельница в лесу”:

*Льётся речка лугом, лесом,
А в лесу волшебный плёс
Словно чаша под навесом
Частых елей и берёз.
У лазоревого плёса
Посредине нету дна,
В пене вертятся колёса,
В чаще мельница видна.
Дуб зелёный у порога,*

*Крыша словно на весу:
Говорят, что к ней дорога
Затерялася в лесу...
У ворот, как пики, ельник,
От колёс по лесу гул!
Сто годов прошло, как мельник
У плотины утонул.
И темно в речной пучине,
И поныне его дочь
Саван шьёт, поёт в кручине
При лучине в полночь.
В окнах сумрак, паутина
И не видно огонька.
Только слышно, как с плотины
В пене падает река,
Как шумит колючий ельник,
Плачет в ельнике сова,
Как зерно стонувший мельник
Посыпает в жернова.
И аukaется призрак
На диковинном плесу,
Дочку мельникову теша
Звонким посвистом в лесу.*

По корневой дороге идти, в особенности ночью, было трудно: ноги скользили, а после дождя она становилась как отполированная, и я на ней часто падал.

Чтобы добраться до токующих глухарей, надо пройти дубнинскую дорогу больше, чем наполовину. Шли мы ночью, скользя по корням.

... Вот в лесной тиши и жуткой, непроглядной тьме брат уловил какие-то звуки.

“Это, — тихо сказал мне Серёжа, — токует глухарь”. Я иду за ним. Оба мы старались идти только во время песни глухаря. Пение замолкало, и мы замирали на месте. Вновь начиналось пение-токование, и мы двигались дальше.

Звуки слышались все ближе и ближе. Брат довольно точно определил расстояние до глухаря, знал он и дальноточность нашего ружья. И вот — выстрел. В темноте что-то падает... Это оказался большой петух с красными серёжками.

Уже светало. Через просвет между макушками высоких елей были видны клочки хмурого неба. Вся лесная величественная природа пробуждалась от зимней спячки под музыкальные трели птичьих напевов.

Брат Серёжа садился на замшелый старый пенёк, вслушивался в птичий гомон, то печальный, то весёлый, и принимался рассказывать. Казалось, что он сказку делал былью, а быль превращал в сказку: “Слышишь жалобное пение? Этот плач — весть о несчастье, случившемся с её милым другом, а весёлый посвист на разные голоса успокаивает её и утешает, и развлекает её своим пением. Вся эта звуковая симфония создана неподражаемым композитором природы, без какого-либо видимого управления”.

“Сами птицы веками вырабатывали свои мелодии — часть человек у них взяла, часть они человеку дали.

Человек без природы, окружающей его, не мог бы существовать на земле”.

Когда мы с братом бывали то на глухом болоте, то в тёмном лесу, я мог услышать от него: “Лёнъка! Какая кругом красота, как всё радостно в природе. Замечал ли ты когда-либо, чтобы природа была бы не любима нами?”

Наблюдая за Серёжей, я думал, что он безумно любил лес, реку, поле, болото, чашобу, даже такую, куда трудно добраться.

Выйдя на дубнинскую дорогу, мы малость отдыхали на замшелых пнях и шли в Дубровки. Когда миновали казённый, оставалось уже не более 3 километров до деревни.

Поднимешь мох, — поднимается он без труда целым одеялом, а берёзка или сосёнка наклоняется и опять встанут на своё место, взглядишься в корни — они состоят из множества мелких корешков, расположенных почти поверх торфяной земли.

А красавица клюква — да и не только красавица, а вкуснотища какая! Несколькo ягод бросишь в рот, а там и сладко, и щекочет в горле, но вкусно и приятно. Растёт-то клюква на тонком волоске и опять же во мху.

Кругом ягоды, ягоды... куда ни глянь. Глаза разгораются, и не знаешь, что собирать, — то ли клюкву, то ли куманику, то ли бруснику.

На охоту я всегда брал с собой корзинку, в которой была еда, да ещё и два-три мешочка. Дичь, бывало, не приносили, но ягод или грибов — целую гору.

Сергей все леса, все грибные и ягодные места знал так, что выйдет в тёмную ночь — и найдёт.

... Солнце клонилось всё ниже и ниже. В воздухе чувствовалась прохлада. Это объяснялось тем, что Светлое болото, Большой или Великий мох находились в низине.

Собирая куманику и клюкву, мы с братом порядком устали. Уже хотелось домой, да и еда вся вышла, а ягод сколько хочешь ешь — ими не наешься.

Выйдя со Светлого болота и Большого мха, мы дошли до дороги, ведущей в Дубровки.

До деревни километра за два доносился жалобный хрипящий звук, подобный лягушачьему кваканью.

Подойдя ближе к реке, мы с братом направились в ту сторону, откуда раздавался лягушачий крик. Почти у самого берега, в камышах, извивалась змея, а у неё из гортани и доносились эти жалобные хрипящие звуки.

Брат тут же сказал: “Это же не змея, а довольно старый уж, потому он такой большой. У него в горле застряла лягушка, которую он не может ни проглотить, ни выбросить обратно, а она полуживая сидит в его горле и кричит”.

Сергей попробовал из камышей перенести ужа на берег, но тот из его рук выскользнул и уплыл дальше в камыши...

Наш осинник мне запомнился именно осенью, потому что ни в Чертухинском, ни в Потапихинском лесах не было лиственных деревьев, а осинник сплошь состоял из осин, берёз, изредка попадались там рябина и черёмуха. Не раз я и с Сергеем, и один ходил в эти солнечные, тёплые, ясные, листопадные дни в наш дубровский осинник.

Коненков Сергей Тимофеевич в деревне Дубровки

Коненков Сергей Тимофеевич летом 1908 или 1909 года (точно не помню) жил со своей женой и сыном (если не ошибаюсь, звать его было Кириллом) у нас в Дубровках.

Ходил он в белых холщовых штанах, такой же толстовке и часто, как и брат Сергей, босиком.

Сергей Тимофеевич, как и Сергей, очень любил природу: часто он уходил если не с братом, то один на реку, в лес, в поле, на болото с ружьём, а то и так, без него.

Любил он ходить на реку Дубну. Однажды поздним вечером мы втроём вышли из дома, прошли казённый и к рассвету пришли к остоу водяной мельницы. Я, не показывая усталости, наскоро набрал сухого валежника и развёл *грудок*.

Оба Сергея обошли весь затон, у которого середина заросла высоким камышом, а вода была сплошь покрыта тиной. В таких камышовых зарослях утки, бекасы и кулички выводили своё потомство.

Но в это утро в камышах дичи не было. Охотники лишь спугнули в камышах большую сову и несколько кобчиков.

Обратно Сергей Тимофеевич вернулся чуть раньше Сергея. По своему обыкновению, он всегда что-нибудь приносил из леса. Вот и на этот раз принесённые корни он мастерски обрезал, и они стали напоминать то ли странника с котомкой, то ли старика с сумой. Он показал своего *корневого старика* моему брату.

Надо сказать, что когда брат был в настроении, он был остроумен, находчив, весел и, посмотрев на изделие художника, запел:

*Старикашка за скалой,
С перевязанной скулой,
Горбунок скалу лягнул,
Старичок скалу надул.*

И добавил:

*Одет колдун в онучах,
В онучах серых тучах.*

А брат, надо сказать, прекрасно копировал деревенские хороводы со вьюном на плече:

*Положу я вьюн на правое плечо,
А со правого на лево положу.*

Декламировал и пел из Пушкина, Лермонтова и других поэтов...

Сергей Тимофеевич — это всегда чувствовалось — не просто уважал, а любил Сергея как близкого друга и такого же, как и он сам, любителя и ценителя старины глубокой, преданий, сказок, поверий, древних славянских мифов.

Сергей Тимофеевич и брат Сергей не раз были на Дубне, но меня брат не всегда брал с собою, так как до реки Дубны было вёрст 8–9, и я очень уставал. Но в один из походов, благодаря просьбе Сергея Тимофеевича, они меня взяли с собой.

На рассвете — ещё не показалось солнце — мы пришли в затон реки Дубны. Развели *грудок*, напекли картошки, поели её с чёрным хлебом и зелёным луком. В это утро в затоне прилёта и отлёта дичи не было. Два Сергея отправились в казённый вековой лес.

Из леса Сергей Тимофеевич вернулся с причудливыми корнями деревьев и с зарисовкой одной сосны, растущей не как все деревья. А вскоре со своей добычей — случайно вылетевшим из-под ног тетеревом — вернулся домой и брат Сергей.

Было раннее утро. Роса ещё не была слизана солнечными лучами, и голос в эту пору делается звучным и бывает слышен далеко-далеко.

Сергей запел народную песню:

*Над серебряной рекой
На златом песочке
Долго девы молодой
Я искал следочки,
А следов уж тех и нет,
Их и не бывало...*

Сергей Тимофеевич громко хлопал в ладоши. От восторженного шума в камышах, в мелком ивняке, склонившемся в воду, даже примолк соловей.

Возвращаясь домой, они много говорили о литературе и искусстве, о Врубеле, Репине, Городецком, Клюеве. Сергей читал свои стихи про Ладу.

... Сергей Тимофеевич по своей натуре был человек выносливый и здоровый. На охоте он, бывало, — в лесу ли, на болоте — избродит все места, и после таких походов он никогда подолгу не отдыхал.

Наша мать, Фёкла Алексеевна, часто делала *мурцовку*, по-теперешнему — окрошку: домашний квас из ржаных сухарей, толчёный зелёный лук, яйцо, сваренное вкрутую, свежие, мелко нарезанные огурцы и так же мелко — мяско кусочками. И эта еда Сергею Тимофеевичу очень нравилась. В наше простое деревенское кушание Сергей Тимофеевич ввёл нечто новое — это была селёдка с антоновскими яблоками, нарезанными кружочками.

Сергей Тимофеевич своей простотой в обращении и с малыми, и со старыми вносил в нашу семью, имеющую несколько сумрачный характер, весёлую, радостную нотку.

Сергей Тимофеевич брал деревянную лестницу с 10–12 ступеньками, ставил её на указательный палец правой руки, держал лестницу в равновесии несколько секунд, а потом молниеносно сбрасывал её на землю, где она несколько секунд оставалась в стоячем положении.

Он что-то тесал топором, лепил из глины или отливал из разведённого гипса.

Незадолго до отъезда в Москву познакомился Коненков с нашим соседом Голубковым Михаилом Васильевичем, который был церковным старостой

в нашей старообрядческой церкви. Сергей Тимофеевич, бывая в церкви, слушал его рассказы о старинных иконах и книгах.

Был случай, что и Сергей Тимофеевич, и Михаил Васильевич возвращались из Талдома в *весёлом настроении*, то есть в подпитии. По дороге от села Талдома до дома Михаила Васильевича пели они церковные песни. Начало одной из них – “Достойно есть яко воистину...”. Голубков Михаил Васильевич пел только молитвы, песни народные петь считал большим грехом.

У дома Михаила Васильевича высаживался из тарантаса Сергей Тимофеевич, обнимался с хозяином, и расходились они хорошими друзьями.

В письме заслуженному работнику культуры РСФСР, члену Союза журналистов Ивану Ивановичу Илюхину Коненков Сергей Тимофеевич писал: “Я дружил с Клычковым. Он прекрасный поэт, можно сказать, предшественник Есенина. Он был и хороший человек, стремящийся к светлой и радостной будущности. Я с глубоким чувством вспоминаю о нём. С. Коненков”.

Дружба Сергея с Журовым Петром Алексеевичем

Журов Пётр Алексеевич познакомился с Сергеем в 1908 году в Московском университете, когда был студентом филологического факультета. А в 1910 году Пётр Алексеевич летом был у нас в Дубровках.

Из Дубровок друзья прошли пешком по Волге от Савёлова до Клина. Летом 1913 года Сергей был под городом Иваново у Петра Алексеевича, и от него направились они пешком в город Китеж и на озеро Светлояр.

В своём очерке “Две встречи с молодым Клычковым” (журнал “Русская литература”, 1971 г. № 2) Пётр Алексеевич даёт краткое, но красочное художественное описание праздника на Светлояре 22–23 июня старого стиля – в Иванов день.

Само озеро Светлояр в вечернее время всё горело от свечей, пущенных паломниками на дощечках или кусках коры. Со всех сторон оно было окружено полями с золотистой рожью, лугами, берёзовым леском с полянками в нём, на которых собирались пришедшие издалека верующие, паломники, старики и молодые девушки необычайной красоты.

Подмечены в очерке и иконописные лица старцев, будто сошедших с картин художника Нестерова.

От Светлояра обратно до Нижнего через Семёнов они шли сплошными сосновыми лесами, без деревень, без прохожих на все сто вёрст пути, и проделали его за два дня. Руками ловили они молодых тетеревят и отпускали их на волю.

На Керженце ночевали в лесном женском монастыре. Дородные матушки тянули бредень в тенистом монастырском пруду. И Серёжа, шутя, подговаривал молоденькую монахиню, которая принесла им обед от игуменьи, бежать с ним из монастыря.

“Только в творчестве для меня соль и значение моей беспутной жизни”, – писал Сергей Журову в 1911 году. Пётр вспоминал о нём: “Он был человек широкой, открытой души, – но встреченный сурово, враждебно в жестоком до-революционном быту, замкнулся и ожесточился. Ему свойственна была какая-то неизбывная печаль”.

Критики 20–30-х годов ославили его *кулацким поэтом*. Для брата это было оскорбительно и обидно: Клычков всю жизнь нуждался и жил своим трудом.

В молодости он был беден и гол как сокол. Родительская семья, в которой он был старшим сыном, хотя и жила в деревне в просторном каменном доме, бедствовала, а иногда и голодала.

Никаких запасов и богатой обстановки в доме не было. Клычков ненавидел кулачество, зло и насилие. Он не любил богатых и зажиточных, считал их духовно ограниченными. Он тяготел к простому, трудовому народу.

Сергей часто получал письма от Журова, написанные мелким разборчивым почерком, в которых тот кратко, но образно рассказывал о природе, о впечатлениях от прочитанных книг, о молодых поэтах и писателях. И Сергей часто в семейном кругу читал нам эти письма с большим увлечением.

В 1971 году я случайно узнал, что Журов Пётр Алексеевич здравствует. При встрече мы долго говорили о творчестве Сергея, о взаимоотношениях его с людьми, о его семейной жизни, о службе в старой армии и обо всём том, что осталось в памяти.

Журов заинтересовался моими воспоминаниями о Сергее, нашёл, что они весьма ценны и нужны для биографии Сергея, поскольку относятся к периоду формирования самобытного его таланта.

Из письма мне от Журова Петра Алексеевича за 1973 год. “В нём, Сергее, чудесна сохранившаяся и древняя вера в младших духовных существ (леших, домовых, русалок), которых он *ощущал* в жизни, как мы с Вами ощущаем внешний мир. Не будь этого живого чувства в нём, все его, как Вы говорите, фантазии были бы невозможны.

Серёжа, конечно, любил меня, как и я его, он чувствовал, что я понимаю его и так же, как он, верю и в тайных духов, и в леших, и в домовых. Талант его и эта способность ощущать духовный мир были необыкновенными”.

Я согласен с Петром Алексеевичем, что в Сергее “чудесно сохранилась древняя вера в младших духовных существ (леших, домовых, русалок)”, но “ощущал” он их в жизни совсем не так, как верил и верит в них Пётр Алексеевич.

При своём природном, самобытном таланте, он в своей поэзии и прозе легендарным, сказочным героям, созданным народом в очень далёкие времена, придавал *ощутимую* форму. Без неё эти фантастические, очень древние “духовные существа” были бы бледны и еле заметны.

Что же касается того, что Сергей любил и уважал Петра Алексеевича, то это неоспоримо. В семейном нашем кругу Сергей с большой любовью отзывался о письмах Петра Алексеевича, в которых он писал Сергею о природе, о прочитанном, о новинках в литературе.

Не один раз мне приходилось с братом бывать в таких чащобах, где одни волчицы выводили своё потомство, да медведь устраивал под большой вековой корягой свою зимнюю “квартиру”.

Теперь я только вспомнил (читая письма Петра Алексеевича), какое же было здесь раздолье, какое же было приволье в этих прекрасных, тёмных, загадочных местах *младшим духам* наших народных сказок, преданий и поверий.

Я вспомнил, что Сергей в ту пору был сосредоточен и задумчив.

Мы оба порядком устали, собирая белые грибы, которых было много. Усталость нас торопила домой.

Сергей, очевидно, незаметно для меня, “наговорился” в чащобе со своими *младшими духами*, и в этот раз, как и после других походов, он усаживался за работу и записывал стихами свои “разговоры”.

Из письма Петра Алексеевича: “Относительно верований Сергея скажу, что он не написал бы своих романов, если бы не верил в то, о чём пишет”.

Но “ощущать и верить” — это одно, а знать, какие они, как ведут себя, каковы их нравы — это совсем другое. Сможем ли мы это своё *ощущение* перенести на бумагу? Нет, не сможем, хотя, может быть, и чувствуем их, а Сергей сумел и нас познакомить с ними:

*Встал в овраге леший старый,
Оживают кочки, пни...
Вон с очей его огни
Сыпятся по яру.
Лист пробился на осине,
В мох уходит лопоток,
А у ног его поток,
Сумрак синий, синий!
Бродит он один по лесу...
Свисли уши, как лопух...
И поёт глухарь-петух
На плече у беса...*

Сергей благодаря своему самобытному таланту воплощал в слове предания, легенды, сказки, поверья, пришедшие к нам из далёкого прошлого.